

Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку.
Чичечача — шашки блеск,
Биээнзай — аль знамен,
Зиээгзой — почерк клятвы.
Бобо-биба — аль околыша,
Мипиопи — блеск очей серых войск.
Чучу биза — блеск божбы.
Мивеаа — небеса.
Мипиопи — блеск очей,
Вээава — зелень толп!
Мимомая — синь гусаров,
Зизо зезя — почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили — снег черемух,
Сосесао — зданий горы...

Велимир Хлебников

ГЛАВА I

СКИФСКИЕ ШЛЕМЫ

Ну, подумать только — транспортная пробка в Москве на восьмом году революции! Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце Китай-города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле «Славянского базара» с ломовых подвод разгружают садки с живой рыбой. Под аркой Третьяковского проезда ржание лошадей, гудки грузовиков, извозничий матюкальник. Милиция поспешает со своими пока еще довольно наивными трелями, как бы еще не вполне уверенная в реальности своей сугубо городской, не политической, то есть как бы вполне нормальной, роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наигранна. Но самое главное в том, что все играют охотно. Закупорка Никольской на самом деле явление радостное, вроде как стакан горячего молока после сыпного озноба: жизнь возвращается, грезится процветание.

— Подумать только, еще четыре года назад здесь были глад и мор, блуждали кое-где лишь калики перехожие, да безнадежные очереди стояли за выдачей проросшего картофеля, а по Никольской только чекистские «маруси» проезжали, — говорит профессор Устрялов. — Вот вам, мистер Рестон, теория «Смены вех» в практическом осуществлении.

Два господина приблизительно одного возраста (35–40 лет) сидят рядом на заднем сиденье застрявшего на Никольской «паккарда». Оба они одеты по-европейски, в добротную комплектную одежду из хороших магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимым приметам в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего иностранца, более того, американца.

Парижский корреспондент чикагской «Tribune» Тоунсенд Рестон в течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже назвать приступами: раздражение не оставляло его здесь ни на минуту, просто временами оно было сродни ноющему зубу, в другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления.

Может быть, как раз с пищи все и началось, когда в день приезда советские, так сказать, коллеги — этот невыносимый Кольцов, этот ерничавший Бухарин — потчевали его своими деликатесами. Эта икра... даром что и в Париже сейчас безумствуют с икрой, нашли в ней, видите ли, какой-то могущественный «афродизиак»... но ведь это же не что иное, как рыбы яйца, медам и месье! Доисторическая рыба, покрытая хрящевидными роготками... а главное все-таки — это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости, бахвальства... и вместе с этим неуверенность, заглядыванье в глаза, невысказанный вопрос. Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их с толку. Рестона здесь тоже что-то сбивает с толку. Прежде он полагал, что знает пружины революций. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунт во многих странах Латинской Аме-

рики. Черт побери, теперь он видит, что «гориллы» по сравнению с этими «вершителями истории» были ему ближе, как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми «рыбьими яйцами». Неужели большевики всерьез думают, что ворочают мирами? Все было бы проще, если бы речь шла просто о захвате и удержании власти, о смене правящей элиты, однако...

Готовясь к поездке, Рестон читал переводы речей и статей советских вождей. В конце августа РКП(б) была потрясена трагической историей, связанной с Америкой. Катаясь на лодке по какому-то озеру в штате Мэн, утонули два видных большевика, председатель «Амторга» Исай Хургин и Эфраим Скланский, ближайший помощник Троцкого в течение всех лет Гражданской войны. На похоронах в Москве всесильный «вождь мирового пролетариата» выдавливал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения: «...наш товарищ Эфраим Маркович Скланский... пройдя через великие бури Октябрьской революции... погиб в каком-то ничтожном озере...»

Эдакое презрение к озеру, недоумение перед «внеисторической» смертью; нет, они и в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам Валгаллы или по крайней мере титанами из мифологии. Черт возьми, мало кто в Америке поймет, что они одержимы своей «классовой борьбой» больше, чем аурой власти... Революция, похоже, это не что иное, как пик декаданса...

Увешанный черными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофер наркоминдельского «паккарда», кряхтя, выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Рестон, посасывая погасшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе иной раз мелькали чрезвычайно красивые

женщины почти парижского вида. У входа в импозантное здание аптеки стояли два молодых красных офицера. Стройные и румяные, перетянутые ремнями, они разговаривали друг с другом, не обращая ни на кого внимания. Их форма отличалась той же декадентской дикостью, что и вся эта революция, вся эта власть: престраннейшие шапки с острыми шишаками и нашитой на лбу красной звездой, длиннейшие шинели с красными полосами-бранденбурами поперек груди, отсутствие погон, но присутствие каких-то загадочных геометрических фигур на рукавах и воротнике — армия хаоса, Гог и Магог...

— Простите, профессор, позвольте задать вам один, как мы в Америке говорим, провокативный вопрос. После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции?

Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестон извлек свой «монблан» и приготовился записывать ответ на полях своего «бедекера». Профессор Устрялов весьма сангвинически рассмеялся. Он-то как раз души не чаял во всех этих «икорочках» и «стерлядках».

— Милый Рестон, не подумайте, что я над вами смеюсь, но главным достижением революции является то, что Цека стал старше на восемь лет.

По правде сказать, даже этот его сегодняшний спутник с его спотыкающимся английским в сочетании с самоуверенными переливами голоса (откуда у русских взялась эта манера априорного превосходства перед западниками?) раздражал Тоунсенда Рестона. Фигура более чем двусмысленная. Бывший министр в сибирском правительстве белых, эмигрант, осевший в Харбине, лидер движения «Смена вех», он нередкий гость в Красной Москве. Последняя его книга «Под знаком революции» вызвала разговоры

в Европе, а уж здесь-то ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени.

Зиновьев называет Устрялова классовым врагом, тем более опасным, что он на словах приемлет Ленина, говорит о благодетельной «трансформации центра», о «спуске на тормозах», о «нормализации» большевистской власти, о надежде на нэповскую буржуазию и на «крепкого мужика»...

Зиновьев иронизирует над Устряловым в типично большевистской манере — «курице просо снится», «как ушей своих не увидите кулакизации, господин Устрялов»... Бухарин называет его «поклонником цезаризма». Любопытно, на что́ и на кого делается намек в последнем случае?

Рестон в разговоре с Устряловым старался играть дурачка, поверхностного американского газетчика.

— Все возвращается на круги своя, — продолжал Устрялов, — ангел революции тихо отлетает от страны...

Рестон понимал, что он цитирует собственную книгу.

— Революционный жар уже позади... Победит не марксизм, а электротехника... Посмотрите вокруг, сэр, на эти разительные перемены. Еще вчера они требовали немедленного коммунизма, а сейчас расцветает частная собственность. Вчера требовали мировой революции, а сегодня только и ищут концессионных договоров с западной буржуазией. Вчера был воинствующий атеизм, сегодня «компромисс с церковью»; вчера необузданный интернационализм, сегодня — «учет патриотических настроений»; вчера прокламировался беспрекословный антимилитаризм и антиимпериализм, давалась вольная всем народам России, сегодня — «Красная Армия, гордость революции», а по сути дела, собиратель земель российских. Страна

обретает свою исконную историческую миссию «Евразии»...

По мере разгрузки подвод у «Славянского базара» движение по Никольской хоть и черепашьям ходом, но восстанавливалось. Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев.

Торговка пирогами и кулебяками розовощекостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках. Проезжающему американцу было невдомек, что диковинка называлась «Американский подводный житель».

— Ба, открылась Сытинская книжная лавка! — воскликнул Устрялов, обращаясь к американцу по-русски и как бы к своему, но потом, сообразив, что тому ничего не говорит это название, с улыбкой прикоснулся к твидовому колену. — В области литературы и искусства здесь сейчас полный расцвет, сэр. Открыты кооперативные и частные издательства. Даже газеты, хоть и все остались в руках большевиков, гораздо меньше пользуются трескучей пропагандой и больше дают прямой информации. Словом, болезнь позади, Россия стремительно выздоравливает!

С торцовой стены дома, что здесь, как и в Германии, именуется брандмауэром, смотрела афиша кинофильма — некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса, завитая блондинка, которая вполне могла оказаться Мэри Пикфорд. Там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы. Если бы Рестон мог читать по-русски, он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв Санпросвета «Вошь и социализм несовместимы!».

— Ну что же люди партии, армии, тайной полиции? — спросил он Устрялова (он произносил «Юстрелоу»). — Вам кажется, что и они проходят такую же трансформацию?

С подвижностью, свойственной мягким славянским чертам, лицо профессора переменяло выражение экзальтации на серьезную, даже отчасти тяжеловатую задумчивость.

— Вы затронули самую важную тему, Рестон. Видите ли, еще вчера я называл большевиков «железными чудовищами с чугунными сердцами, машинными душами»... Хм, эта металлургия не так уж неуместна, если вспомнить некоторые партийные клички — Молотов, Сталин...

— Сталин, кажется, один из... — перебил журналист.

— Генеральный секретарь Политбюро, — пояснил Устрялов. — Основные вожди, кажется, не очень-то ему доверяют, но этот грузин, похоже, представляет крепнущие умеренные силы. — Он продолжал: — Только такие чудовища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько порока. Однако сейчас... Видите ли, тут вступает в силу эрос власти, который у этих людей очень сильно развит. Машинные теории вытесняются человеческой плотью.

— Интересно, — пробормотал Рестон, непрерывно строча «монбланом» на полях «бедекера». Устрялов усмехнулся — еще бы, мол, не интересно.

— Мне кажется, этот процесс проходит во всех сферах, как в партии, так и особенно в армии. Вы вроде обратили внимание на двух молодых командиров возле аптеки. Какая выправка, какая стать! Это уже не расхристанные чапаевцы, настоящие профессио-

нальные военные, офицеры, хоть и в странной, на западный взгляд, форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Буденным придумана, а она, между прочим, была заготовлена еще в шестнадцатом году по макетам художника Васнецова Виктора Михайловича, так что здесь мы как бы видим прямую передачу традиции... Скифские мотивы, батенька мой, память о пращурах!

Устрялов вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением. Что он там пишет, как будто понимает все, что я ему говорю? Кто из них вообще может это постичь, невнятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа? Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе — держись британских правил. *Understatement* — вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул:

— Что касается ОГПУ, или, как вы это называете, тайной полиции... Как вы думаете, еще четыре года назад смог бы эмигрантский историк разъезжать по Москве с иностранным журналистом в машине Наркоминдела?

— Значит, вы не боитесь? — спросил Рестон с прямой квотербека, посылающего мяч через полполя в зону противника.

Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее, очевидно, просили остановить заранее, возле вычурного фасада Верхних торговых рядов. Здесь профессор Устрялов и американец Тоунсенд Рестон, представляющий влиятельную газету «Чикаго трибюн», покинули экипаж и далее проследовали пешком по направлению к Красной площади. Напрягая слух, шофер еще некоторое время мог слышать высокий голос «сменовеховца»:

«...Разумеется, я понимаю, что мое положение до крайности двусмысленно, — в кругах эмиграции многие считают меня едва ли не чекистом, а в Москве вот Бухарин на днях объявил...»

Дальнейшее было покрыто гулом хлопотливой столицы.

Едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду, к «паккарду» подошел некто в мерлушковой шапке, субъект с усиками из той породы, что до революции назывались «гороховыми» и не изменились с той поры ни на йоту.

— Ну что, механик, о чем буржуи договаривались? — обратился он к шоферу.

Шофер устало потер ладонью глаза и только после этого посмотрел на обратившегося, да так посмотрел, что шпик сразу же осел, тут же сообразил, что перед ним и не шофер вовсе.

— Уж не думаете ли вы, любезнейший, что я в а м буду переводить с английского?

Вдруг над Верхними торговыми рядами и над запруженными улицами старого Китай-города полетели «белые мухи», первый, пока еще легкий и бодрящий, снегопад осени 1925 года.

Между тем молодые командиры, чья внешность навела двух джентльменов из пролога, которые, очевидно, больше и не появятся в пространстве романа, на столь серьезные размышления, все еще продолжали беседовать у подъезда аптеки Феррейна.

Комбриг Никита Градов и комполка Вадим Вуйнович были ровесниками и к моменту начала повествования достигли двадцати пяти лет, имея за плечами несметное число диких побоищ Гражданской войны, то есть они были, по тогдашним меркам, вполне зрелыми мужчинами.

Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командарма Тухачевского, Вуйнович занимал должность «состоящего для особо важных поручений при Реввоенсовете», то есть был одним из главных адъютантов наркомвоенмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов, коренной москвич, по долгу службы обитал в Минске, тогда как уралец Вуйнович после назначения в Реввоенсовет заделался настоящим столичным жителем. Эта превратность судьбы немало его забавляла и давала повод посмеяться над Никитой. Прогуливаясь с другом по Москве, он подмечал театральные афиши и как бы мимоходом заводил разговор о премьерах, а потом как бы спохватываясь: «Ах да, у вас в Минске об этом еще не слышали, эх, провинция...» — и далее в этом духе, словом, вполне добродушный и даже любовный эпатаж.

Впрочем, о театрах эти молодые люди в буденовках говорили мало: разговор их то и дело уходил к более серьезным темам; это были серьезные молодые люди в чинах, каких в старой армии нельзя было достичь, не преодолев сорокалетнего рубежа.

Никита прибыл в Москву вместе со своим главкомом для участия в совещании по проведению военной реформы. Совещание предполагалось в Кремле, в обстановке секретности, ибо в нем должен был принять участие чуть ли не полный состав Политбюро РКП(б). Секретностью уже тогда все они были одержимы. «Партия по привычке продолжает работать в подполье», — повторяли в Москве шутку главного большевистского остряка Карла Радека. Дело несколько осложнялось тем, что шеф комполка Вуйновича, председатель Революционного военного совета, народный комиссар по военным и морским делам Михаил Васильевич Фрунзе вот уже более двух не-

дель находился в больнице с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. ЦК, по-братски заботясь о здоровье любимца всех трудящихся, легендарного командарма, сокрушителя Колчака и Врангеля, предлагал провести совещание в его отсутствие и поручить доклад первому заместителю председателя РВС Уншлихту, однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии, да и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррейна, где они поджидали Веронику, жену комбрига Градова.

— Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой язве, — сказал Вуйнович, широкоплечий человек южнославянского типа, с щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, не обделенный и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим эскадронам до южного берега Крыма и тут, среди скал, пенистых волн, кипарисов и виноградуников, понял, где лежит его истинная родина.

Романтического соблазна ради мы должны были бы сделать Никиту Градова противоположностью его друга, то есть отнести его к северным широтам, к некоей русской готике, если таковая когда-либо существовала в природе, и мы были бы рады это сделать, чтобы добавить в скифско-македонский колорит еще и варяжскую струю, однако справедливости ради мы преодолеваем соблазн и не можем не указать на то, что и Никита, хотя бы наполовину, соотносился со средиземноморской «колыбелью человечества»: его мать, Мэри Вахтанговна, была из грузинского рода Гудиашвили. Впрочем, в наружности его не было ничего грузинского, если не считать некоторой рыжеватости и носатости, что можно с равным успехом от-

нести и к славянам, и к варягам, и по крайней мере с наименьшим успехом к не вовлеченным еще в мировую революцию ирландцам.

— Послушай, Вадя, а что говорят врачи? — спросил Никита.

Вуйнович усмехнулся:

— Врачи говорят об этом меньше, чем члены Политбюро. Последняя консультация в Солдатёвской больнице пришла к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой, однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь Михаила Васильевича, он на пулеметы пойдет — не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полное уныние.

Никита отогнул полу своей длинной шинели и достал из кармана ярко-синих галифе луковицу золотых часов, награду командования после завершения мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже сорок минут.

— Знаешь, — проговорил он, все еще глядя на дорогую, тяжеленькую великолепную вещь, лежащую на ладони, — мне иногда кажется, что далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы.

Вуйнович затянулся длинной папиросой «Северная Пальмира», потом отшвырнул ее в сторону.

— Особенно усердствует Сталин, — резко заговорил он. — Партия, видите ли, не может себе позволить болезни командарма Фрунзе. Может быть, Ильич был не прав, а, Никита? Может быть, «этот повар» не собирается готовить «слишком острые блюда»? Или как раз наоборот, собирается, а потому так свирепо настроен против диеты и за нож?!

Градов положил руку на плечо разволновавшегося друга — «спокойно, спокойно», — выразительно посмотрел по сторонам...

В этот момент из аптеки наконец выпорхнула Вероника, красотка в котиковой шубке, сигналившая

вспышками голубых глаз, будто приближающаяся яхта низвергнутого монарха. Пошутила очень некстати:

— Товарищи командиры, что за лица? Готовится военный переворот?

Вуйнович взял у нее из рук довольно тяжелую сумку, — чем это можно обзавестись в аптеке таким увесистым? — и они пошли по Театральному проезду, вниз, мимо памятника Первопечатнику в сторону «Метрополя».

Всякий раз, когда Вуйнович видел жену своего друга, он делал усилие, чтобы избавиться от мгновенных и сильных эротических импульсов. Едва лишь она появлялась, все превращалось в притворство. Правдивыми его отношения с этой женщиной могли быть только в постели или даже... Холодея от стыда и тоски, он осознавал, что готов был сделать с Вероникой примерно то, что однажды сделал с одной барынькой в захваченном эшелоне белых, то есть повернуть ее спиной к себе, толкнуть, согнуть, задрать все вверх. Больше того, именно эта конфигурация вспыхивала перед ним всякий раз, когда он видел Веронику.

Хамские импульсы, бичевал он себя, гнусное наследие Гражданской войны, позор для образованного командира регулярной армии красной державы. Никита — мой друг, и Вероника — мой друг, и я... их замечательный друг-притвора.

Возле «Метрополя» расстались. У Вуйновича в этом здании прямо под врубелевской мозаикой «Принцесса Грёза» была холостяцкая комната. Градовы поспешили на трамвай, им предстоял долгий путь с тремя пересадками до Серебряного Бора.

Пока тряслись по Тверской в битком набитом вагоне с противными запахами и взглядами, Никита молчал.

— Ну что опять с тобой? — шепнула Вероника.

— Ты кокетничаешь с Вадимом, — пробормотал комбриг. — Я чувствую это. Ты сама, может быть, не понимаешь, но кокетничаешь.

Вероника рассмеялась. Кто-то посмотрел на нее с удовольствием. Смеющаяся в трамвае красавица. Возврат к нормальной жизни. Суровая бабка в негодовании зажевала губами.

— Дурачок, — нежно шепнула Вероника.

С прозрачных зеленеющих и розовеющих небес летел редкий белый пух, легкий морозец как будто обещал гимназические конькобежные радости. Они проехали ветхий развал Хорошево, потом трамвай, уже полупустой, побежал к концу маршрута, к кругу Серебряного Бора. Вековые сосны парка, подернутое первой морозной пленкой озеро Бездонка, заборы и дачи, в которых уже зажигались огни и протапливались печи, — неожиданная идиллия после суматошной и, как всегда, отчасти бессмысленной Москвы.

От круга нужно было еще пройти с полверсты пешком до родительского дома.

— Что у тебя такое тяжелое в сумке? — спросил Никита.

— Накупила тебе брому на целый месяц, — бодренько ответила Вероника и искоса посмотрела на мужа.

Страдание, как всегда, сделало смешным его веснушчатое лицо. Он смотрел себе под ноги.

— К черту твой бром, — пробормотал он.

— Перестань, Никита! — рассердилась она. — Ты уже две недели не спишь после командировки. Этот Кронштадт тебя окончательно измотал!

Октябрьская командировка в морскую крепость выглядела обычной деловой поездкой высшего командира — спецвагон до Ленинграда, оттуда рейдовым

катером к причалам Усть-Рогатки. В гавани, на берегу и в городе царили полный порядок, мерная морская налаженность всех служб. Чеканя шаг, в баню и из бани, проходили взводы чернобушлатников. Иные хором пели «Лизавету». На линкорах отработывали приемы сигнализации. Пеликанами сновали над бухтой новомодные гидропланы. Куски времени отмерялись для всех присутствующих четкими ударами склянок. Чистый морской, как бы английский и уж, во всяком случае, очень отвлеченный от российской действительности мир.

Ничто и никто не напоминает о событиях четырехлетней давности. Только один раз, поднимаясь на форт «Тотлебен», он услышал за спиной спокойный голос:

— Я вижу, товарищ комбриг, путь вам хорошо знаком.

Он резко обернулся и увидел глаза старшего артиллериста. «Вы... вы здесь были?.. Тогда? Возможно ли?..» Позднее Никита мучился, осознав, что за этим недоумением читалось другое: «Почему же не расстреляны?»

— Я был в отпуске, — просто сказал артиллерист, не выражая решительно никаких эмоций.

— А я штурмовал ваш форт! Поэтому и путь знаю! — не без вызова приподнял голос Никита, хотя и понимал, что вызов вроде направлен не по адресу, что уж если не расстрелян артиллерист, значит облечен доверием, иначе бы непременно разделил судьбу тех, кто отвечал перед народом и революцией за тот яростный антибольшевистский взрыв марта 1921 года.

Очевидно, все-таки не совсем не по адресу была направлена фраза, если судить по тому, как артиллерист отвел глаза и молча сделал приглашающий жест вверх по трапу — прошу, мол, осчастливьте!..

Весь день Никита занимался проверкой установки новых обуховских орудий на фортах «Тотлебен» и «Петр I», вместе с представителями завода и командования Балтфлота вникал в документацию и устные пояснения артиллеристов и только к вечеру, сославшись на усталость, оказался один и ушел пешком в город.

Кажется, он уже отдавал себе отчет, что его тянет туда, на Якорную площадь, в центр тогдашних событий.

С приморского бульвара он обозревал внешний рейд и там серые силуэты двух гигантов, вроде бы тех самых; как ни старайся, из этих пушек и труб уже никогда не выбьешь память о ярости линкоров.

Свежестью и полной промытостью веяло от сентябрьского вечера, от щедрой воды вокруг, от бороздящих рейд мелких плаведилиц и от подмигивающих сигналами гигантов.

В те дни все это пространство было белым, застывшим будто бы навеки и зловецим. Линкоры стояли борт к борту у стенки, покрытые льдом до самых верхних надстроек, со свалывшимся, прокопченным снегом на палубах. Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется враждебное чувство к замерзшей «Маркизовой луже», как называли Финский залив военморы. По льду на крепость шли бесконечные цепи карателей в белых халатах.

Четыре с половиной года спустя, стоя у памятника Петру Великому и глядя на оживленное полноводье, комбриг РККА Градов поймал себя на другой мысли: начнись тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к Ораниенбауму и прямой наводкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К «Петропавловску» и «Севастополю», безусловно, присоединились бы